

Виктор ГРОССМАН

# ОСТРОГ

Весна пришла дружная. Зазеленели травы, распустились листья на деревьях, зацвели акации, липы и яблони, а на улицах Кишинева стояла невылазная грязь и нестерпимая вонь неслась с нижней части города. На свою обычную утреннюю прогулку Пушкин уходил далеко в степи. К нему иногда присоединялся Пестель. Обремененный занятиями, связанными с его должностью, Пестель находил время, чтобы читать множество книг по истории, философии, финансам, военному делу и литературе, но больше всего он уделял внимания и сил делам тайного общества. Для него он писал записку о государственном управлении, которую называл «Русской правдой». Теперь Пестель был убежден в необходимости революционного переворота, чтобы установить в России республиканский образ правления.

Произвести такой переворот могла только тайная организация, и Пестель не жалел труда, чтобы сколотить крепкое, спаянное любовью к родине, общество людей, которые бы верили этой идее и не пощадили для нее жизни. Однако, чем больше Пестель углублялся в существо стоявших перед ним и перед его единомышленниками государственных задач, тем яснее видел, что возникают все новые и новые, ранее непредвиденные вопросы.

Глава из романа «Арион» о Пушкине и декабристах. Весь роман будет опубликован в издательстве «Советский писатель».

И первый из них был вопрос о русском крестьянине и о земле, о способах пользования ею и о величине надела. Конечно, и другие сословия требовали к себе внимания. Между тем не вполне ясен был и вопрос о том, что же будут делать заговорщики первое время в случае удачи, если восстание победит и государственная власть перейдет к ним в руки. Что будет пригодно для переходного времени: диктатура одного или директория нескольких? Не встретятся ли они с тиранией честолюбца?

Во время общих прогулок Пестель все больше раскрывал перед Пушкиным истинную сущность своих взглядов и намерений, но на этот раз поэт оставался равнодушным. Пестель говорил:

— Народы постигли святую истину, что не они существуют для правительств, но правительства для них должны быть устроены. И вот причина борения во всех странах. Народы, почувствовав сладость просвещения и свободы, стремятся к ним, правительства же, огражденные миллионами штыков, селятся оттянуть народы во тьму невежества. Но тщетны все их усилия: впечатления, раз полученные, никогда не сглаживаются. Свобода, сей свет ума, теплотвор жизни, была всегда и везде достоянием народов, вышедших из грубого невежества. И мы не можем жить, подобно предкам нашим, ни варварами, ни рабами!

Пушкин слушал, но не спешил ответить. У него была привычка применяться к сво-

ему собеседнику или корреспонденту. Ему казалось, что так они лучше поймут друг друга. Кроме того, это было хорошим упражнением в слоге. Поэтому в переписке с князем Вяземским он часто сквернословил без нужды, с Жуковским беззлбно шутил, с гусарами ухарствовал, с Гнедичем применял высокопарные выражения в классическом роде, с Раевским и Орловым умничал. Теперь с Пестелем он заботился о стройности рассуждений и точности слов, так как хотел говорить со строгой убедительностью, сжато и неопровержимо.

Хотелось еще сказать Пестелю, что мечты мечтами, а жизнь жизнью, что жар любви к родине остывает, что из-за рубежа поступают грустные вести не только из королевства двух Сицилий, но также из Сардинии и даже из Гишпании. А что видим здесь? Ослабело и движение гетероариоты и оттолкнули от себя простой народ. Так что и на глазах повторяется то, что молва приносит издалека. И Пушкин, ничего не отвечая Пестелю на его страстные тирады о свободе, заговорил по-французски о греках:

— Ну, кто бы мог подумать, что отряды Ипсиланти—это толпа трусливой сволочи, которая даже не могла выдержать первого огня дрянных турецких стрелков? Что касается офицеров, то они еще хуже солдат. Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева, со многими из них мы лично знакомы, мы можем удостоверить их полное ничтожество. Они умудрились быть болванами даже в такую минуту, когда их рассказы должны были интересовать всякого европейца. Никакого представления о чести, ни малейшего понятия о военном деле, никакого энтузиазма. Я не варвар и не проповедник Корана, дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие, именно потому я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей возложена священная обязанность защищать свободу.

Пушкин хотел еще сказать, что не только греки, что все народы хотят тишины и покоя, что для них честь и свобода — пустые слова, но как сказать это человеку, фанатически убежденному в противном?

Лучше промолчать! Однако эти замалчивания разногласий давали себя знать и порою создавали отчуждение между ними. Пестель все больше углублялся в тайны конспиративного общества и, естественно, скрывал это от непосвященного собеседника, а Пушкину казалось, что и среди русских вольнодумцев наступило охлаждение. Всё как будто подтверждало правильность его политических размышлений. И всё же, расходясь во взглядах, Пестель и Пушкин высоко ценили друг друга.

«Каким надо быть гигантом духа, чтобы в полудикой Бессарабии не опуститься, не измельчать, а напротив так глубоко постигать вопросы и явления истории, политики и философии, чтобы выражать тончайшие проявления человеческой души в несравненных стихах», — думал Пестель о Пушкине.

В свою очередь Пушкин, слушая Пестеля, невольно удивлялся высоте его мыслей и чистоте намерений.

«И это сын человека, о котором Вяземский говорил: «Сам правил, сам и грабил». От кого же он набрался такого жертвенного духа, что готов жизнь положить за счастье русского народа? А сам человек не русский. Вот поди же ты, разберись в тайниках души человеческой! Иные называют его честолюбцем, говорят, что он метит в Наполеоны. Но разве можно поверить, что в России его ожидают высшие почести и власть? Скорее, тюрьма и плаха!»

Однажды Пестель предложил Пушкину вступить в масоны. Пушкин рассмеялся и объяснил удивленному подполковнику, что никак не может забыть шутки, которую сыграли в «Арзамасе» над его дядей, поэтом Василием Львовичем. Принимая в члены невинного литературного общества, Жуковский, князь Вяземский, Батюшков и другие шутники спародировали весь ритуал масонских лож. Было это в доме у Сергея Семеновича Уварова. Дядю нарядили в хитон с раковинами, надели на голову шляпу с широкими полями и дали в руки посох пилигрима, символ странствия в мире без цели. В этом наряде с завязанными глазами свели его по задней крутой лестнице в нижний

этаж, где остальные члены ожидали его с руками полными хлопущек, которые бросали ему под ноги. Церемония эта продолжалась более часу. Долго после этого арзамасцы не могли без смеха смотреть ни на него, ни друг на друга, как римские авгуры.

— Неужели вы и меня хотите подвергнуть такому же осмеянию? — спросил Пушкин.

— Вам, я надеюсь, будет сделано изъятие, если я поручусь за вас! — сказал Пестель. — Во всяком случае попытаюсь поговорить с генералом Пушиным, который состоит главным мастером ложи «Овидий».

— Название привлекательное, особенно для меня, которого Раевский зовет «Овидиевым племянником». Однако, если и примут меня без соблюдения общего ритуала, все же не вижу причины мне быть масоном. Я — не мистик и всегда разделял мнение Дельвига, что чем ближе к небу, тем холоднее. Что буду я делать среди масонов? Чем займут мое воображение обряды, давно всем известные, и тайны, над которыми уже шутят смиренные арзамасцы?

— Пойдите из любопытства. Вы увидите, что ложа «Овидий» состоит из разнообразного и любопытного сброда. Само собою, там вы найдете и некоторых знакомых, но их роль будет для вас неприлична.

Пушкин сказал примирительно:

— Любопытство простительно писателю. А вась, придется когда-нибудь описывать русского масона, у меня будет уже нужный опыт. Чтобы описать, надо знать, а чтобы знать, надо испытать. Но вот что вы мне скажете, Павел Иванович, как совместить это с моралью или с боязнью греха, а то и с обетом самоотречения?

Пушкин коснулся темы, которая давно его томила. Он ждал от своего собеседника какого-нибудь оригинального суждения. Но Пестель отнесся легко к тому, что могло быть важным только для писателя или ученого.

— Я не хотел бы ни на минуту быть предателем или палачом, лишь для того, чтобы познать душу этих презреннейших гуществ! — сказал он, улыбувшись.

— А может ли быть художником монах?

— Монах, если только он монах истинный, то есть отшельник и анахорет, может быть художником весьма ограниченным. Разве он стал иноком, уже накопивши жизненный опыт и сохранив память о былых деяниях и событиях. Следственно, кто схимился, но не смирился. Жизнь отошла, но не забыта, и душа к ней неравнодушна. Борьба его не окончена, и отшельничество стало последней станцией на его жизненном тракте. Но оружие он взял в руки другое: крест и гусиное перо.

— Вы имеете в виду летописца?

— Да, и летописца. Спокойный и бесстрастный по внешнему виду отшельник зачастую оживляет прошлое вымыслом и передает векам и потомкам свой гнев и свое мщенье, сильнейшую страсть человеческой души.

Подумав, Пестель добавил:

— Великий поэт должен быть и великим человеком. И мщенье его должно разить не за мелкие обиды личности, но за преступления против народа.

Пушкин ответил не сразу. Он боялся быть непонятым. Как бы то ни было, но Пестель говорил о предмете ему постороннем, а Пушкин о самом себе.

— Великий человек — это не тот, который не способен на мелкие чувства: злобу, ревность и зависть, а тот, что при случае и сотворит мерзость, но знает ей цену и потом изображает свои пороки, не щадя себя. Или, бывает, он принуждается говорить злое ради великих целей. Поэт, изменчивый в жизни, может быть велик в своих писаниях, потому что там он всегда порядочен и правдив. Между тем в суетных заботах света он зачастую и празднословит и лукавит. Нет, не тот велик, кто стоит на мраморном постаменте и одет в бронзовый покров, а тот, кто в самой гуще жизни способен постичь не только взлеты духа, но и его паденье до самой бездны. Поэт должен не только бестрепетно взглянуть в нее, но и бесстрашно описать. А в самом постижении гибели он должен найти прелесть и неизъяснимое наслаждение. Правда, истина жизни — вот стихия художника, и с этого пути его не может совлечь ни желание

славы, ни страх, ни жажда мести. Но это удел истинного поэта, чьи звуки будут жить в веках вместе с Гомером, Данте и Шекспиром.

Пушкин стал масоном. К своему удивлению, он увидел на первом же собрании, которое посетил, майора Раевского и Николая Степановича Алексеева. Остальные члены были ему мало знакомы. Кроме двух русских генералов, Пушкина и Тучкова, начальника ложи и казначея, Пушкин различил двух французских офицеров, французского адвоката, еврея-аптекаря, двух докторов, испанца и немца, двух сербов из местных купцов да еще несколько человек неведомых наций и неопределенных занятий. По привычке иметь наготове стихи про всякий случай, Пушкин с легкой улыбкой произнес:

«Какая смесь одежд и лиц,  
Племен, наречий, состояний».

Эти стихи он недавно сочинил о разбойничьей шайке, но как кстати пришлось они к членам кишиневской ложи! Хотя Пушкин и не собирался принимать участие в масонских ритуалах, все же ему выдали белый кожаный передник — зупон и длинные белые перчатки для будущей невесты. Поэт узнал, что собрания бывают приемные, праздничные, фамильные или хозяйственные и печальные.

После одного из печальных собраний, на котором много говорилось о нравственном самоусовершенствовании, Пушкин вернулся домой в угнетенном состоянии. Быть может, и не стоило принимать близко к сердцу лицемерные воздыхания кишиневских масонов о том, что современное общество погрязло в грехах и распутстве, что корысть господствует там, где должно ожидать благочестия и любви к ближнему, что о ближнем думают только тогда, когда с этого ближнего можно сорвать что-нибудь. Не им учить общество, этим разношерстным проходимцам, которые образовали ложу «Овидий»! Человеческие слабости давно всем известны! Перечислять их не стоит труда. И какое дело поэту до них!

Полиция и духовенство лучше разберутся в пороках и даже кое в чем помо-

гут добродетели. Все так, но в Пушкине давно уже зрела потребность задуматься над своей жизнью, отдать себе отчет в прошлых поступках, прочитать свиток с летописью последних дней, оправдать их или осудить.

Он улегся в постель, но заснуть не мог. Нарастала тревога и недовольство собой. Сердце стучало неровно и тяжело. Пушкин прислушался к ритму ударов:

«То — так  
То — пятак,  
То — денежка!»

Томила бессонница! Воспоминание с неумолимой ясностью воспроизводило всю жизнь последних лет с неизбежной суетой, ошибками, неловкостями. Жаль было молодых дней за то, что они утрачены, горько сознавать, что они прожиты бесполезно, бесполезно, безрадостно и порою недостойно. Ну для чего, к примеру, он так долго гостил у каменных богачей? Разве он сумеет когда-нибудь отблагодарить их за гостеприимство своей хлеб-солью? А без этого как сохранить достоинство и независимость? Ведь он не только проявил неблагодарность, но солгал жене хозяина, не пожалел его чести, да еще насмеялся над обоими в злых и острых стихах! А разве к доброму старику Инзову, к Инзушке, он не проявил такой же неблагодарности? А ведь старик давал ему свободу большую, чем позволил бы Петербург, защищал его от упреков свыше и от нападков молдавских бояр. А разве, когда он играл в карты на мелок или брал деньги взаймы у богатых приятелей, разве тогда он не чувствовал, что такие займы или чрезмерные ставки унижают его достоинство? Много еще уколов беспощадной совести вытерпела его мятущаяся душа! Няня сказала бы, что следовало отогнать сумасшедшего беса заклинаниями: «аминь, аминь, рассыпья!» Но Пушкин со своими бесами боролся иначе — отгонял их не крестом, а пером. Только на этот раз он стал писать не стихи, а письмо к брату. Его заботила судьба молодого человека, дворянина без состояния и без большого таланта. Как-то сложится его характер и образуется жизнь? Не дай ему бог повторять ошибки старшего брата, бесплодно

прожигать молодость, ссориться с царями и писать политические стихи!

Пушкина потянуло к откровенности, но самолюбие удерживало. Нелегко рассказать всю правду о своей жизни, хотя бы и с целью назидательной.

Марат, чтобы предостеречь младшего брата от общения с развратными женщинами, повел его в госпиталь, где лежали больные поклонники Киприды. Зрелище было столь ужасно, что жестокий воспитатель преуспел в своих целях. Марат был врачом, а брат его под именем господина де Будри устроился преподавателем французского языка в Царскосельском лицее и охотно рассказывал воспитанникам о своем брате, знаменитом деятеле французской революции.

Однако брату Льву не покажешь того госпиталя, где лечатся пострадавшие от связей дружеских, светских, деловых и им подобных. Кто и заболел в свете, при дворе или на службе, тот тщательно скрывает свой недуг от любопытного взора и уж во всяком случае не откроет его причины.

И невольно Пушкин перешел от исповеди к прямому назиданию, хотя и признавал малую пользу таких нравочений.

«Ты в том возрасте, — писал Пушкин брату по-французски, — когда следует подумать о выборе карьеры. Я уже изложил тебе причины, по которым военная служба кажется мне предпочтительнее всякой другой».

Далее шли правила в повелительной форме:

«Будь холоден со всеми!.. Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение!.. Никогда не принимай одолжений! Одолжение, чаще всего, предательство. Избегай покровительства! Я хотел бы предостеречь тебя от обольстительной дружбы!»

Можно ли было в таком нравственно назидательном письме не коснуться женщин?

«То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны XVIII века».

Дальше снова пошли нравочения:

«Не забывай никогда умышленной обиды! Не делай долгов! И прочее. Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценою горького опыта. Хорошо, если б ты мог их усвоить, не будучи к этому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь; она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если дело идет о счастье твоей жизни».

Закончив письмо, Пушкин вздохнул и про себя прибавил: «Впрочем, это между нами и потомством будь сказано!»

Разбитые под Секу и Скулянами, повстанцы из отряда Александра Ипишанги перебирались через Прут и Дунай в Россию, надеясь получить там политическое убежище. Одни вели себя очень осторожно и скорее просили подаяния, чем позволили бы себе кражи или грабежи. Другие же составляли мелкие шайки и разбойничали в окрестностях городов и деревень.

Русской полиции было трудно различить разбойников от мирных пришельцев. Ясский паша, узнав, что главы мятежников: Иордаки Олибноти, Георгий Кирджалия и Калакотрони находятся на русской земле, потребовал их выдачи. Обнаружить местопребывание этих людей не представляло никаких трудностей, потому что они не скрывались. Их можно было видеть в кофейнях с длинными чубуками во рту. На них были узорные куртки, красные востроносые туфли и хохлатые скуфейки, надетые набекрень. Ятаганы и пистолеты торчали из широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, что эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджалия и что он сам находился среди них.

Получив соответствующее предписание из Петербурга, кишиневский губернатор князь Катакази распорядился схватить Георгия Кирджалия. Его нашли за ужином у какого-то беглого монаха в обществе семи товарищей. Когда ему предъявили распоряжение губернатора о задер-

жании и выдаче туркам, Кирджалия спокойно сказал:

— Для турков, для молдаван, для валахов я, конечно, разбойник. Но для русских я гость. С тех пор, как я перешел Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Бог видит, что я, Кирджалия, питался подавняниями! За что же русские выдают меня моим врагам? — После этого он замолчал и спокойно стал дожидаться разрешения своей участи.

Кирджалия — это была фамилия знаменитого разбойника. Но на турецком языке «кирджали» значит удалец, храбрец, богатырь. Поэтому русская полиция считала, что Георгий Кирджалия скрывает свое подлинное имя, а носит удачное прозвище.

Схваченные повстанцы содержались в кишиневском остроге, ожидая высылки за Прут. Тюрьма была каменная с решетчатыми окнами и круглыми башнями по углам, оставшаяся еще от турок.

Пестель намеревался навестить повстанцев в остроге, чтобы побеседовать, рассчитывая, что они будут полезны ему разными сведениями и связями. Эти люди хорошо знали Молдавию и Валахию, возможный театр военных действий, леса, болота и тайные тропинки, броды через речки и поселения славян. Недаром они прошли пешком всю страну от Черного моря до Дуная. Знали они также количество турецких воинских частей и их расположение. И не было им никакой причины беречь военные тайны своих врагов.

На посещение острога надо было просить разрешение Инзова, а уж если идти к генералу, то нельзя не проведать Пушкина. У поэта были гости: генерал Пушчин и Алексеев. Пришли они не по масонским делам, а чтобы поздравить Пушкина с днем рождения. Когда же они узнали о цели визита Пестеля к Инзову, то решили идти в острог все вместе. Инзов одобрил и поддержал это решение.

— И то! Идите всей честной компанией! Я чаю, у господина полковника Пестеля не будет секретных переговоров с разбойниками и возмутителями против законного правительства, хотя бы и неверного.

— Вы правы, генерал, — поспешил согласиться Пестель. — Пойдем все четверо, авось каждый внесет свою лепту в общее дело!

По дороге встретили Лекса. Он также направлялся к острогу.

— Мы сегодня выпроваживаем из тюрьмы за молдаванскую границу Кирджалию!

— А кто такой этот Кирджалия?

— О, этот человек, о котором можно много порассказать! Родом он из булгар, но принимал самое горячее участие в борьбе греков с турками. В Молдавии и Валахии его знают по разбоям, которые он производил со своим товарищем Михайлаки. Другие же считают его героем. Во всяком случае, Александр Сергеевич, вам будет интересно познакомиться поближе и с самим Кирджалия и с его историей.

Подшли к острогу. Выцветшее от времени, побуревшее каменное здание, окруженное высокой стеной, резко отличалось от других казенных построек Кишинева. У ворот стояла полосатая будка. Часовой посмотрел пропуск и позвал зрителя, постучав кулаком в дверь. В двери открылось маленькое окошечко и через него просунулась голова в засаленной фуражке с грязным шарфом на шее и с железными очками на красном носу. Багровый нос с очками долго двигался справа налево по строчкам пропуска, и наконец зритель произнес:

— В помещение тюрьмы я вас пропустить не могу. В этой бумажке сказано, что вы можете видеть арестантов и беседовать с ними, но не сказано, что вы можете входить в камеры или другие помещения тюрьмы.

Пушкин смущенно посмотрел на Лекса. Тот улыбнулся и сделал многозначительный жест. Пушкин понял, вынул ассигнацию и без всяких церемоний подал в окошко. Чиновник, не говоря ни слова, взял ассигнацию и приказал открыть ворота. Того, что стало доступно взору поэта, он уже не мог забыть никогда. На этом дворе людям рубили головы, сажали на кол, вешали и расстреливали. Казалось, то тут, то там еще оставались следы запекшейся крови.

Пушкина и Пестеля по их просьбе впустили внутрь тюрьмы, а Пушкин и Алексеев остались во дворе беседовать с Лексом и старым смотрителем. В первой камере содержались три грека: Иордаки Олимбиоти, Калакотрони и Сафианос. С ними был и болгар Кирджалия. За последним уже прислали карупу, и он готовился к отъезду. Двигался он медленно, гремя при каждом движении кандалами.

Калакотрони и Олимбиоти на плохом французском языке рассказывали Пестелю о сражении под Секу. Там на убой погнали цвет греческого юношества. Они отступили перед неприятелем, который численностью превосходил их в шесть раз, и заперлись в монастыре. Когда же их предали, они сами взорвали пороховые бочки и все погибли. Между тем Александр Ипсиланти, убежавший на полуостров Морею, осыпал их в письмах градом упреков, называя трусами и эслушниками. Все знают, что эти трусы и отступники дрались и погибли как герои!

Пушкин уже не в первый раз слышал справедливые жалобы гетористов на их неудачливого предводителя, князя Ипсиланти. Он оставил Пестеля наедине с повстанцами, а сам пошел в следующую камеру. Там на нарах увидел он Урсула, а в углу на соломе лежали два его товарища: Богатченко и Славич, восемнадцатилетний мальчик, усыновленный Урсулом. Все трое были беглые украинцы. Пушкин легко разговорился с Урсулом. Тот сказал, что кроме прозвища, данного ему валахами, он имеет другое, настоящее имя, но объявлять его не видит нужды. После некоторого молчания он добавил:

— Буйная молодость завела меня не туда, куда следовало! Как быть! Знаю, что я был бы отличный воин!

Пушкин вернулся домой в душевном смятении. Так кто же преступник и кто герой? Калакотрони, Сафианос, Кантогни и Кирджалия совершили ряд воинских подвигов, которыми гордились бы в любой армии и в любой стране, между тем они содержатся в страшном каменном мешке. А тот сброд, что фиглярничает во время масонских обрядов, все эти аптекари, доктора, адвокаты и естествоиспытатели, как они именуют себя, неужто

они стоят выше этих ошельмованных разбойников? Только тем, что грабят втихомолку, потому что на открытый грабеж у них смелости не хватает?

Пушкин стал часто ходить в острог и разговаривать с арестованными об их удалстве. Те охотно занимали поэта рассказами о различных похождениях. Однажды с Пушкиным пошел в острог Вигель, член Бессарабского Верховного Совета.

Войдя в камеру, где лежали на соломе Богатченко и Славич, Вигель не решился подойти к ним близко и, стоя у двери, рассматривал их в лорнет. Богатченко отвечал ему насмешливым взглядом и, наконец, сказал:

— Что, барин, ты, кажется, не стар, а совсем ослеп! Не так бы ты на меня посмотрел, если бы встретился мне в лесу!

— И много ты в лесу людей ограбил и убил?

— Спроси кого хочешь, рука моя никогда не обогрелась чужой кровью. То же самое тебе скажу об Урсуле. А брат, брал. Ты-то скажешь, что я грабил. Так что ж? Бедного мужика я не трогал. А господина купца или помещика почему не ограбить? Сам-то он откуда берет, как не от того, что грабит своих крестьян да еще без труда и опасности? А мы с Урсулом за то же самое своей головой заплатить должны. Вот тебе и дворянский закон! Уж наш лесной лучше!

Богатченко метался по всей камере, придерживая рукой цепи. Вигель смотрел на него со страхом и отвращением.

— Ты ответишь спиной и задом! Поделом вору и мука! — сказал ему Вигель и поспешил выйти — таким взглядом ответил ему Богатченко.

Суд над Урсулом и его товарищами продолжался всего лето. Улик против них было мало, потому что не находилось охотников опознавать грабителей. Однажды вечером Богатченко сказал Пушкину:

— Клетка надломлена, настанет ночь, а мы ночные птицы и вольные.

Пушкин ждал и не ложился. Уж давно минула полночь, а все вокруг было тихо. Вдруг послышалась барабанная дробь и застучала все сильнее и сильнее.

В остроге пробили тревогу. Пушкин побежал к тюрьме. Треск барабана не утихал. У тюремных ворот он увидел, что барабанщик, мальчик лет шестнадцати, бьет в барабан. Мимо пробежали люди с ружьями наперевес и с саблями наголо, освещая себе путь факелами. При неверном свете факела Пушкин рассмотрел лицо барабанщика. Оно было страшно. По щеке лилась кровь, а глаз, вырванный из орбиты, висел на ниточке. Но мальчик, не чувствуя боли и не замечая своего увечья, продолжал иступленно бить тревогу, судорожно сжимая в руках палочку. Это один из беглецов ударил его ножом.

Как узнал Пушкин, многих переловили, но Богатченко скрылся без следа. Пушкин вернулся домой под утро, и в постели перед ним стоял все тот же мучительный и неразрешенный вопрос: кто же герой? О ком писать поэму? То виделся ему маленький неистовый барабанщик, который не ведал, что творил, и стал причиной страданий и гибели людей, виновных в том, что они хотели жить как все, но не могли сделать этого. То вспоминалась статная фигура Урсула, его спокойные, не лишенные благородства черты, то приходил на память легендарный Кирджали...

В тот же день Пушкин набросал отрывок, которому дал название «Чиновник и поэт».

«Куда вы? За город, конечно,  
Зефиром утренним дышать  
И с вашей музою мечтать  
Уединенно и беспечно?»

Нет, я собираюсь на базар.  
Люблю базарное волнение,  
Скуфы жидов, усы болгар,  
И спор, и крик, и торга жар,

Нарядов пестрое стеснение,  
Люблю толпу, лохмотья, шум  
И жадной черни лай свободный...

Так — наблюдаете — ваш ум  
И здесь вникает в дух народный.  
Сопроводять вас рад бы я,  
Чтоб слышать ваши замечанья,  
Но службы долг зовет меня,  
Простите, нам не до гулянья.

— Куда ж? —

— В острог. Сегодня мы  
Выпроваживаем из тюрьмы  
За молдаванскую границу  
Кирджали».

Продолжать он не мог. Не воспевать же разбой Кирджали с Михайлаки, которые они производили в валашских схватках с турками были нединочки. Кантагони и Сафианос, Иордаки и Пенда-Дека тоже совершали дела, достойные Илиады. Надо бы сведать поточнее о сражении под Скулянами и воспеть всех его участников. О Кирджали же писать рано еще и потому, что надо еще узнать, как сложится его судьба после выдачи ясскому паше.

Генерал Киселев уехал в Тульчин и увез с собой Пестеля. В одиноких прогулках Пушкин продолжал свои размышления о герое. Вдруг пришла весть о смерти Наполеона. Предмет, достойный его пера, явился как нельзя более кстати. Не теряя ни минуты, Пушкин принялся за работу. В первое же утро он набросал план оды на смерть Наполеона. Он писал и чувствовал небывалую ответственность. В его лице русский историк оценивал бывшего врага. И он начал оду строками, которые прозвучали, как реквием:

«Чудесный жребий совершился:  
Угас великий человек!»

\* \* \*

Н. КУЗНЕЦОВ

## СОСНЫ

Бор красую не беден,  
Весь в росинках смолы,  
Оркестровою медью  
Полыхают стволы.  
Лес, задумчивый, древний,  
Весь зарей освещен.

Величавей деревьев  
Не видал я еще.  
Поднялись за столетье  
В поднебесную высь  
Их могучие ветви,  
Как в пожатые сплелись.